



И. ГЕССЕН

Из книги «Годы изгнания: Жизненный отчет»

В. В. Сирина, обожаемого первенца моего покойного друга В. Д. Набокова, я знал еще ребенком, но, хоть и очень люблю детей, мало интересовался тонким, стройным мальчиком, с выразительным подвижным лицом и умными пытливymi глазами, сверкавшими насмешливыми искорками. Правда, при частых посещениях особняка Владимира Дмитриевича детей приходилось видеть редко: они были «на своей половине» (точнее — в своем этаже, надстроенном специально для них) со своими гувернерами, гувернантками и прислугой, и встречался я с ними только когда случалось у Набоковых обедать. Но и за обедом беседа не считалась с присутствием детей, которые тяготели: две девочки — к сидевшей между ними воспитательнице, два мальчика — к разделявшему их гувернеру.

Мне хорошо было известно, что родственное окружение друга моего настроено против меня, и казалось, что такое настроение сообщается и детям. Сам Владимир Дмитриевич любил говорить о своих детях, главным образом о первенце, которого он, а тем более жена его и ее родители буквально боготворили. В кабинете В. Д. бросался в глаза большой фотографический снимок: над детской коляской, в которой под великолепным, дорогими кружевами убранным одеяльцем лежал будущий Сирин, — любовно склонились, впившись в ребенка восторженным взглядом, отец, мать и дед Рукавишников. У меня сложилось впечатление о крайне ненормальном воспитании, скованном мертвящими великосветскими условностями, и еще больше укрепилось, когда, лет четырнадцати, Сирин, по завещанию внезапно умершего крестного отца получил и сам миллионное состояние. Приблизительно в это же время В. Д. стал рассказывать, что «Володя пишет стихи, и очень недурные», но я не усмотрел в них признаков творческого дара, равно как не при-

давал значения рассказам об его настойчивом коллекционировании бабочек, оказавшемся, однако, серьезной, прочной страстью. Напротив, когда В. Д. поделился со мной радостью, что в ближайшем будущем Володя выпустит в свет сборник стихов, я так решительно протестовал, что друг мой заколебался и только и мог ответить: «Ведь у него свое состояние. Как же мне помешать его намерению?» — и это заставило еще больше усомниться в будущем юноши.

Как счастливо ошибся я. Но не объясняется ли ошибка всецело тем, что мне оставалась еще неведома его, как он сам выразился в замечательном стихотворении памяти Толстого, «почти нечеловеческая тайна»¹ — его подверженность таинственным зовам Аполлона к священной жертве, которые без остатка плавают любыми влияниями.

Ценные автобиографические черточки содержатся в речи, с которой он обратился ко мне в день семидесятилетия, поэтому уместно воспроизвести ее, опуская, конечно, обращения по моему адресу:

«Я не красноречив, т. е. не умею зараз думать и говорить, да и вообще, кажется, впервые произношу застольную речь, поэтому она вероятно получится коряво. Так вот, сначала позвольте мне отметить математическую сторону дела: Вы сегодня старше меня ровно вдвое, хотя, правда, мы с Вами недолго будем хранить равновесие нашего возрастного соотношения. Начну догонять Вас, сам при этом слыша за собой кой-какие шажки, так что можно себе представить в некоей глубине бесконечности, в конце колоннады веков, Вас и меня — двух румяных миллионлетних старцев — беседующих на уходящих в даль террасах Елисейских Полей. Нынче же, когда мы еще далеко не достигли этого положения райских ровесников и я к Вам отношусь как половина к целому числу, мне особенно любопытно оглянуться на развитие Вашего образа в моем детском сознании. Человек, который с годами становится нам дорогим и близким, как бы теряет признак имени, которое поглощается его прояснившимся образом, как бледнеет фонарь на заре, так что этого отличительного имени человеку уже не нужно, оно с ним сливается. Но мне хочется сейчас вспомнить те годы, когда Вы не были для меня вот таким слитным, приписанным к населению моей души Иосифом Владимировичем, а были далеким, даже, пожалуй, несколько легендарным Гессеном, т. е. вошедшим в состав принятого на веру, мифологического окружения моего детства, Гессеном, действующим в том большом мире, где собственно находилось его главное управление. Вмес-

те с тем Вам, как естественному феномену, я вероятно не уделял много мыслей, но Ваше имя в моем детском быту было звуком знакомым, звуком гармоничным, и я живо помню, например, как в отсутствии моих родителей за столом престарелые родственники с наслаждением и ужасом толковали меж собой о пагубном влиянии, которое Вы имеете на моего отца, — до сих пор слышу змеиный свист Вашей двойной согласной и вновь ощущаю то безотчетное смущение, которое возбуждали эти толки во мне, ибо, хотя я и тогда, в детстве, был, как и теперь, достаточно чужд так называемых общественных интересов, но Вы уже принадлежали, в моем тогдашнем познании, к тому державному порядку существ и вещей, который определялся смутными, но добрыми понятиями, такими как “Речь” или Дума, и откуда, говоря точнее, исходил тот дух просвещенного либерализма, без коего цивилизация — не более чем развлечение идиота. Я сейчас с завистью думаю о той климатической полосе русской истории, где Вы расцветали, и мучительно стараюсь сообразить многое, очень многое, что легко вспоминаете Вы...

Грянула, как выражаются заправские ораторы, грянула революция — и вот, после общего выхода из России начинается второй период наших с Вами отношений. Вы были моим первым читателем. С редким благоволением, переходившим почти в попустительство, Вы принимали потоки моих юношеских стихов, количество которых Вас несколько удивляет теперь, когда, бывало, просматриваете умашенные уже летами томы “Руля”. Редактор, издатель, советник, друг — вот как, в преломлении моей личной судьбы, постепенно яснее Ваш образ...»

Да, по-настоящему я познакомился с Сириным в изгнании, когда он из Кембриджа, где вместе с младшим братом учился, приезжал на каникулы к родителям в Берлин, куда по окончании университетского образования и совсем переселился. Перед мной был высокий, на диво стройный, с неотразимо привлекательным тонким, умным лицом, страстный любитель и знаток физического спорта и шахмат (он выдавался умением составлять весьма остроумные шахматные задачи). Больше всего пленяла ненасытимая беспечная жизнерадостность, часто и охотно прорывавшаяся таким бурным смехом, таким беспримесно чистым и звонким, таким детски непосредственным, добродушно благостным, — что нельзя было не поверить ему, что «так лучезарна жизнь и радостей так много... что сижу я и

дивлюсь. Пусть хмурится сосед мой неразумный, а я, я радуюсь всему»².

Неожиданным и тем более внушительным было сочетание с беззаветной влюбленностью в жизнь, склоняющей к предположению о покладистости, — строгой принципиальности и независимости самостоятельных суждений, завлекающей противопоставлять парадоксы шаблонным высказываниям. Очень резко выражался он, например, о знаменитом физиологе Павлове, слышать не мог о Фрейде без раздражения, может быть, потому, что ему представлялась кощунством попытка проникнуть в «почти нечеловеческую тайну». И разве в этом не сказывается тоже безграничное, благодарное доверие к жизни, скромность гостя («бесчисленных гостей полны чертоги Бога, в один из них я приглашен»³). Воздайте кесарево кесарю, Божие Божову.

Поэтические произведения, которыми Сирий начал свое усердное сотрудничество в «Руле», мне особенно дороги, вероятно потому, что они светились трогательно нежной любовью к покинутой родине: «О, звуки полные былого. Мои деревья, ветер мой, и слезы чудные, и слово непостижимое: домой»⁴.

А вот его первый прозаический фельетон, напечатанный в «Руле» и посвященный «задорной нежити — прежнему Лешему», которому «тоже пришлось бежать» и который теперь, за полночь, «при колеблющемся свете слезящейся свечи» посетил его, и «почудилось мне вновь — тучи шатучие, высокие, волны листвы, блестящие бересты, что брызги пены, да вечный сладостный гул...»⁵. Так трудно удержаться, чтобы не развернуть здесь перед глазами всю эту пышную словесную ткань, не насладиться проникновенной лирикой, как молния ослепляющими сравнениями...

Приведу заключительные строки, в которых ночной гость от имени всей затосковавшей нежити прощается с автором: «Ведь мы твое вдохновение, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарование... Друг, я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку... Призрак исчезает, не было никого... Только в комнате чудесно тонко пахло березой да влажным мхом...»

Поэтому понятно, что и за границей, даже и в любимом Кембридже, впоследствии так изумительно отображенном в романе «Подвиг», — увлеченный занятиями и спортом, он все же чувствует свою отчужденность и понимает, что иначе это и не может быть: «Между ними (англичанами) и нами, русскими, стена стеклянная: у них свой мир, круглый и твердый, по-

хожий на тщательно разрисованный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят нас в Бог знает какие небеса и бездны; у нас бывают минуты, когда облако на плечо, море по колено — гуляй душа!»⁶.

Нет, не только потому эти цитаты, число которых так хотелось бы умножить, волновали и прельщали, что им отвечало собственное настроение. Мне кажется, что в них следовало бы поискать ключ, найти разгадку тревожного сирийского творчества. В самом деле — блестящее описание Кембриджа он заключает подлинно трагической нотой: «Я задумываюсь все глубже — о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока нечем». Представить себе только, что же мог дать этот твердый круглый мир, наново, после безумной войны перекроенный версальским, трианонским и другими договорами, по способу пересаживаний крыловских музыкантов⁷, — что он мог дать юноше, влюбленному в лучезарную жизнь и жаждущему радоваться всему.

Выброшенный из России через Крым, где пришлось пережить один из самых тяжелых эпизодов братоубийственной смуты, Сирий побывал в Греции, Лондоне, Париже, в Швейцарии, Германии. Что же мог видеть в эти годы его зоркий глаз, кроме настойчивого извращения человеческой природы, угашения смысла жизни, усилий создать робота и таких симптоматических успехов в этом направлении. (Только что прочел в газете об изобретенном в Германии и демонстрированном в Лондоне роботе — «красивом молодом человеке, щегольски одетом, вежливо приподымающемся со стула, чтобы поздороваться на отличном английском языке, курящем сигару и даже выпускающем дым из ноздрей». Чего ему недостает, чтобы с честью стоять рядом с современным джентльменом, точно так же проявляющим себя только условными словами, жестами и действиями? Чем отличается он, которым распоряжаются его хозяева, стоя от него на расстоянии тридцати метров, от человека тоталитарных, безданно и беспощинно хозяйничающих государств? Такому человеку, как писал Томас Манн, чужда культура в самом глубоком и возвышенном смысле ее, он стремится лишь к одному — к отречению от своего я и безразлично ему, куда он идет: куда прикажут⁸.)

В такой обстановке все меньше остается места для лиризма «стареющих воспоминаний», они лишь вкраплены — но с ка-

кой любовью — во все произведения. Прелестный, по-французски писанный рассказ «Мадемуазель О» начинается с того, что образ этой гувернантки, швейцарки, автор уже раздарил по частям разным персонажам в своих произведениях, и ему хочется собрать то, что еще осталось, чтобы образ не затерялся бесследно⁹. Нет, пожалуй, ни одного романа у Сирина, в котором я не узнавал бы автобиографических черт, какой-нибудь детали знакомого лица, той или другой частности окружавшей его обстановки в особняке на Морской и даче на Сиверской, и это представляется характернейшей особенностью творчества его. Такие вкрапления служат ему как бы базой, лучше сказать — островком, который дает возможность отгородиться, сохранить себя.

Из многочисленных критических статей, посвященных Сирину, мое внимание привлекло сделанное Бицилли указание на духовное родство со Щедриным, документированное ярким сопоставлением ряда цитат¹⁰. Но это указание требует, во всяком случае, двух существенных поправок: охват у них несоизмерим. Щедрин ополчается против уродливостей данного политического строя и соскальзывает поэтому на публицистику. Сирин обнажает червоточины, выведенные условностями и противоречиями в самых устоях общежития.

Еще больше поразило столь же странное с первого взгляда, сколь и глубокомысленное замечание английского критика, аттестовавшего Сирина как одного из немногих подлинных современных юмористов, которому бурная жизнерадостность властно подсказывает, что «а все-таки она вертится!»

Рискуя показаться навязчивым, я все же не мог преодолеть желания хоть в щелочку заглянуть в «почти нечеловеческую тайну», которая всегда трепетно волновала, и, нет-нет, закидывал Сирину вопросы о процессе творчества. Впервые такой вопрос я поставил Стравинскому за завтраком у нас после репетиции концерта в Берлине. Резко и сурово отрицал он «тайну», настаивая, что дело вовсе не во вдохновении. Композиционный замысел — математическая задача, которая требует обычного умственного напряжения для решения ее. Напротив, ответы Сирина доставляли радостное удовлетворение, укрепляя все прочнее слагавшееся о нем суждение как о явлении гения. Я имею в виду определение Шеллинга, которое кажется мне глубоко обдуманым и правильным: гениальный человек тот, который творит с необходимостью природы¹¹. А ответ Сирина был приблизительно таков: когда вдруг является идея романа, я сразу держу его в голове во всех частностях и подробностях.

Нельзя было не вспомнить, что, как рассказывается в биографиях Моцарта, этот «гуляка праздный» точно так же утверждал, что когда возникла идея симфонии, она сразу звучала в голове полностью, со всеми отдельными деталями. На первый взгляд такое утверждение стоит в противоречии с кропотливой работой над рукописями, отличавшей Пушкина, Толстого, да, кажется, и всех «избранников», которым «Господь передает свое старинное и благостное право творить миры и в созданную плоть вдыхать мгновенно дух неповторимый»¹². Сирин переписывает свои произведения по несколько раз, внося все новые поправки или изменения и лишь после этого, под его диктовку, отстукивается окончательный текст. Мне сдается, что здесь отнюдь нельзя усмотреть противоречия, напротив — такая кропотливая работа еще резче подчеркивает необычайную роль и значение божественного дара: вдохновение мимолетно, проекцию на бумаге приходится осуществлять, когда оно уже улетучилось, и настойчивые пометки и поправки свидетельствуют о тяжелых усилиях вскарабкаться по ступеням на ту высоту, на которую вознесли волшебным его крылья. Может быть, можно даже сказать, что трудность проекции прямо пропорциональна силе и стремительности взлета. Поэтому, если теперь профессора поэтики все чаще повторяют, что творчество есть не столько или не только вдохновение, но и ремесло, — это верно лишь в том смысле, что творчество состоит из двух совершенно различных неслагаемых моментов, и, право же, мало оригинального было бы в присвоении каждому гениальному произведению авторства двух лиц (вроде братьев Гонкур) или уж во всяком случае обозначения его двумя ипостасями одного лица. Разве сальериевская характеристика или «Поэт» Пушкина не дают для этого достаточно объективных оснований?

Ремесленную часть творческой работы Сирин совершает с исключительной тщательностью, обычно лежа на диване и приспособив согнутые в коленях ноги в качестве пюпитра. Неизменным товарищем тут же находится словарь Даля, который от доски до доски он перечел 4—5 раз и к которому то и дело обращается во время писания в поисках и проверках наиболее точного слова и выражения¹³. Без преувеличения можно сказать, что каждая фраза строго обдуманна, звучание ее музыкально выверено и, благодаря этому, неистощимое богатство русского языка, легкомысленно обмениваемое в эмиграции на внедрение мертвенно чуждых иностранных терминов, значительно преумножено. Как нельзя точнее к Сирину, в виде все более редкого исключения применимо утверждение того, у

кого он заимствовал свои псевдоним, что «в слове — помышления сердца человеческого»¹⁴, равно как он же представляет наглядное доказательство, что действительно стиль — это сам человек: стиль его такой же «самостийный», независимый, особенный, как и он сам.

Вспоминаю, что ему было лет двадцать, когда «Слово» поручило ему перевести на русский язык «Коля Брюньон» Ромена Роллана¹⁵. Читая корректуры, я вносил некоторые исправления, после чего через Владимира Дмитриевича, с которым ежедневно общался в редакции «Руля», передавал Сирину для окончательной поправки. Возвращая корректуры, В. Д. однажды с улыбкой заметил: «А знаете, что Володя шепнул мне: ты меня только не выдавай. Я все его (т. е. мои) поправки потихоньку резинкой стер». На мгновение шевельнулось чувство досады на мальчишескую самоуверенность, но тотчас же подвернулась на язык сохранившаяся почему-то фраза из учебника Иловайского: «Да будет ему триумф!»

Так случилось со мной уже во второй раз: в начале издания «Права» Петражицкий, близко сдружившись и уверовав в мои редакторские способности, уезжая на лето в Берлин, просил просмотреть корректуры и исправить стиль печатавшейся тогда книги его: «Университет и наука»¹⁶. Стиль у него был мучительно корявый и из-за длинных запутанных периодов трудно понимаемый. Возгордившись этим поручением, я выполнил его с максимальной добросовестностью. Петражицкий привез мне ценный подарок, но все сделанные исправления, до последней запятой, уничтожил. Я был глубоко обижен, теперь же думаю, что был он, как и Сирин, совершенно прав. Отнюдь не хочу этим сказать, что поручение выполнено было неумело, напротив, но чем тщательнее я сглаживал стиль, тем больше отчуждал его от человека, тем полней стирал все, хоть и корявые, нюансы, в которых отпечатлеваются «помышления сердца человеческого».

Если еще упомянуть о такой же самоуверенности композитора С. С. Прокофьева, пышному расцвету творчества которого немало содействовало талантливое перо музыкального критика «Речи» В. Г. Каратыгина¹⁷, то этим и исчерпывается небольшой круг радостно встреченных на долгом пути моем лиц, отмеченных печатью гениальности.

В связи с ответственной кропотливостью сирийской работы стоит другая поразившая меня особенность его: однажды, сидя за чаем, он стал бросать в сына моего, своего большого друга, крошки кекса. Я в то время перечитывал его «Подвиг», напи-

санный несколько лет назад, и произнес вслух понравившуюся мне фразу, опустив имена: «...все щелкал исподтишка в... изюминками, заимствованными у кекса». — «Да, живо отозвался Сирин, это Вадим швыряет в Дарвина, когда Соня приехала в Кембридж». Я изумился и уже для проверки спросил: «А это откуда — на щеке, под самым глазом была блудная ресничка?» — «Ну, еще бы. Это Мартын заметил у Сони, когда она нагнулась над телефонным фолиантом». — «Но почему Вы эти фразы так отчетливо запомнили?» — «Не эти фразы я запомнил, а могу и сейчас продиктовать почти все мои романы от “а” до “зет”». Этот ненормальный диапазон памяти представляется мне волнующе непостижимым, мы только и можем сказать, что это явление исключительное, что он избранник Божий.

Вполне естественно, что у читателя Сирин успеха большого не имеет. Чем трудней и тревожней всякая попытка проникнуть в страшный смысл переживаемого катаклизма, тем охотней мы ищем отдохновения в авантюрном романе, дразнящими отрывками печатаемом на последней странице газеты, за бриджем, в кино, бессовестно эксплуатирующем великое достижение человеческого ума. Да ведь и для самого Сирина нет как будто большего удовольствия, чем смотреть нарочито нелепую американскую картину. Чем она беззаботно глупей, тем сильнее задыхается и буквально сотрясается он от смеха, до того, что иногда вынужден покидать зал.

